



ПРЕДЫСТОРИЯ

Долгая жизнь Джона Рональда Руэла Толкина (1892–1973) закончилась — именно закончилась, а не оборвалась! — несколько десятков лет назад. Она стала преддверием его посмертного существования на земле, конца которому пока не предвидится. Если подыскивать подобие для этой жизни, то больше всего она, пожалуй, похожа на просторный, но вовсе не огромный, просто большой кабинет, он же домашняя библиотека, в старинном, то есть всего-навсего викторианском, доме; справа камин с мраморной доской, кресло у камина, гравюры, резные этажерочки с диковинками — между стеллажами. Много всякого (больше всего книг, хотя их не слишком много), но ничего, как ни странно, лишнего. А хозяин словно сейчас только вышел и вот-вот вернется — вышел не через дверь (через дверь *мы* вошли), а через сияющее и поистине огромное окно в другом конце кабинета. И его жизнь — вовсе не кабинетная, но это потом — представима лишь в ярком и чистом свете.

Выйти-то он, конечно, вышел, от смерти никуда не денешься, но вышел затем, чтобы остаться с нами. И остался, даром что его покамест в кабинете вроде бы и нет; ну как же нет, есть он, и даже без особенной мистики — говорил же завзятый материалист лорд Бертран Рассел: почему мы знаем, вдруг столы за нашей спиной превращаются в кенгуру? Такого нам не надо, обойдемся без австралийских сумчатых, а вот Джон Рональд Руэл, разумеется, присутствует за нашей спиной, и вырастают за

нею деревья, без которых он жизни никак не мыслил, они были для него главным житиетворным началом. И много чего еще до странности знакомого мы обнаружим наяву стараниями Дж. Р.Р. Толкина, невзначай оглянувшись.

Но мы не оглядываемся — успеется; мы медленно обводим глазами оставленную нам на обозрение долгую жизнь. И *очертания* воображаемого кабинета расплываются: в последние годы жизни профессора Толкина его скромная библиотека размещалась в бывшем гаражике, пристроенном к стандартному современному домику на окраине Оксфорда. Пристройка эта, кстати, заодно служила кабинетом, где всемирно известный автор эпопеи «Властелин Колец» принимал посетителей, в том числе и английского литератора Хамфри Карпентера, который впоследствии, в 1977 году, опубликовал его жизнеописание, сущий клад фактов — черпай не вычерпашь. Будем черпать. Перенесемся от конца жизни к ее началу и представим себе времена почти непредставимые, хоть не такие уж и далекие.

Джон Рональд Руэл Толкин (и Джон, и в особенности Руэл — имена фамильные, до поры до времени, а у друзей всегда он звался просто Рональдом) родился 3 января 1892 года в городе Блумфонтейне, столице южноафриканской Оранжевой Республики, за семьсот с лишним километров к северо-востоку от Кейптауна, посреди ровной, пыльной, голой степи — вельда. Через семь лет разбушевалась взбудоражившая весь мир и открывшая XX век



Англо-бурская война, повсюду запели «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне», а название жалкого городка замелькало во фронтовых сводках на первых страницах газет. Но пока это была такая глушь... Такая самая, в которую было тогда принято отправлять молодых англичан — чтобы выказывали и доказывали упорство и предприимчивость. Вот и англичанин в третьем поколении Артур Толкин, внук германского иммигранта фортепьянных дел мастера Толькюна, когда семейная фирма вконец разорилась, выхлопотал себе место управляющего банком в Блумфонтейне. Ему хотелось не столько ехать за тридевять земель, сколько жениться на любимой девушке, некоей Мейбл Саффилд, чей отец, опустившись от суконщика до коммивояжера, требовал от жениха жизненных перспектив. В родном Бирмингеме их не было, а в Южной Африке пусть отдаленные, но обозначались. Мейбл отдали скрепя сердце, и Артур увез ее в тридешатое царство, то бишь в Оранжевую Республику, где она родила ему не только вышеупомянутого Рональда, но и младшего его брата Хилари Артура Руэла.

Очень мало осталось в памяти у старшего сына от Южной Африки: ну, тарантул укусил, ну, змеи живут в сарае и туда маленьким ходить нельзя, по забору скачут соседские обезьянки, норовят не то стащить, не то слопать белье, по ночам воют шакалы и рычат львы, отец сажает деревца, а кругом страшный простор безграничного вельда, тяжкий зной и жухлая высокая трава. А больше, пожалуй, и ничего. Нет, качал головой профессор Толкин, больше, кажется, ничего не помню.

В апреле 1895 года мальчики вместе с матерью отплыли в Англию — повидаться с родными и отдохнуть от южноафриканского климата. Отдохнули неплохо и собрались обратно к отцу. Накануне отъезда, 14 февраля 1896 года, под диктовку четырехлетнего Рональда писалось пись-

мо: «Я теперь такой стал большой, и у меня, совсем как у большого, и пальтишко, и помочи... Ты, наверно, даже не узнаешь и меня, и малыша...» Письмо это не было отправлено, потому и сохранилось. В этот день пришла телеграмма о том, что у отца кровоизлияние в мозг — следствие ревматизма. На следующий день — о его смерти.

Плыть в Южную Африку было незачем. Мейбл Толкин осталась в Бирмингеме с двумя малолетними сиротами на руках и почти без средств к существованию: очень немного удалось скопить ее мужу за пять блумфонтейнских лет. Правда, она знала латынь, французский, немецкий, рисовала, играла на фортепьяно — могла, стало быть, давать уроки. И решила как-нибудь сводить концы с концами, главное же — ни от кого не зависеть, ни на кого не рассчитывать, никому не быть обязанной. Впрочем, на бедствующую родню с обеих сторон надеяться и не приходилось. Она задешево сняла коттедж за городом, возле дороги из Бирмингема в Стратфорд-на-Эйвоне. Дети должны расти у реки или озера, среди деревьев и зелени — таково было одно из ее твердых убеждений. Мейбл вообще придерживалась убеждений твердых и вскоре обрела для них прочную основу, обратившись в католичество. (Она овдовела в двадцать пять лет, была очень миловидна и обаятельна, но жить заново не собиралась.) По тогдашним временам в Англии обращение это означало многое, и прежде всего, помимо привычки общепринятых мнений, особый образ жизни, почти демонстративно противопоставленный общему социальному быту.

Мало того, она и детей решила, что называется, «испортить», сильно затруднив им жизнеустройство, и со свойственной ей неукоснительностью занялась их религиозным воспитанием. Роль этого материнского решения в судьбе и формировании личности Рональда Толкина трудно пере-

оценить. Волею обстоятельств оно стало необратимым, и Толкин никогда ни на йоту не поступился преподанными ему в нежном возрасте религиозными принципами. Правда, никакого неопитского рвения у него не было, и в отличие, скажем, от своего старшего современника, новообращенного Г. К. Честертона, он не считал нужным провозглашать свое кредо на всех перекрестках. Зато в другом они очень схожи: оба эти приверженца римско-католического вероисповедания — англичане до мозга костей. Рональд, кстати, и внешне удался в мать (Хилари — в отца) и по-настоящему дома чувствовал себя только в глубокой английской провинции, вустерширской «глубинке».

Мейбл преподавала сыновьям отнюдь не только вероучение и Закон Божий. Повидимому, у нее был недюжинный педагогический талант, унаследованный старшим сыном: она прекрасно подготовила мальчиков к учебе в самой престижной школе Бирмингема, предъявлявшей очень высокие требования. Именно она приохотила Рональда к любовному изучению языков; именно ей он обязан тем, что в конце концов, победив на конкурсе, обеспечил себе в 1903 году возможность учиться на казенный счет. Не случись этого, совсем другая была бы у него судьба. Потому что Мейбл Толкин умерла в 1904 году.

Детей она препоручила своему духовнику, отцу Френсису Моргану; из него получился заботливый, усердный, надежный и строгий опекун. Остатком сбережений он распорядился как нельзя более умело; свои деньги (а их у него было в обрез) прикладывал не считая. Прожил он, по счастью, еще долго, и его подопечные на всю жизнь сохранили к нему почтительную благодарность. Он, правда, сделал серьезный промах, за который Рональд был ему особенно признателен: подыскав мальчикам в 1908 году пансион (с двоюродной теткой они не ладили), отец Морган не обратил никакого внимания на одну та-

мошную жиличку — девятнадцатилетнюю незаконнорожденную сироту Эдит Брэтт. По роду своих занятий он, видимо, не привык замечать молоденьких и очень хорошеньких девушек, тем более что эта была на три года старше Рональда.

Нельзя сказать, чтобы Рональд был развит не по летам; напротив, ему было в точности шестнадцать. Его филологическая одержимость уже сказала в полной мере, но она была вовсе не угрюмая, а веселая и затейливая. К этому времени он хорошо знал латынь и греческий, сносно — французский и немецкий, но подлинным открытием для него стали готский, древнеанглийский и древнеисландский, а затем и финский. Он даже не столько изучал языки, то есть изучал, конечно, но не грамматически, не формально, — он вникал в них и проникался ими, воспринимая не слова и не конструкции, а тексты, по преимуществу поэтические, в их животрепещущей языковой насыщенности. И тексты казались ему нотными записями. Ему не хватало наличной лексики языка — скажем, готского, — и он методом экстраполяции, с помощью чутья и воображения, создавал слова и обороты, которые могли быть, должны были быть. Собственно, и языков ему тоже не хватало, и он начинал изобретать новые, например скрещивая древнеанглийский и уэльский на фоне финского. Изобретались и алфавиты. Можно было предвидеть, что раньше или позже для этих новоизобретенных праязыков понадобится, чтобы закрепить ощущение языкового единства, изобретать тексты, а для текстов — праисторию и прамифологию. И «Беовульф», и «Сага о Вельсунгах» казались ему — и не зря — отзвуками древнейших эпических преданий. Они не сохранились — ну что ж, значит, надо их...

Мы забегаем вперед. Процесс этот шел, но в школьные годы так далеко еще не продвинулся. Увлеченность Рональда была очень заразительна, и он прекрасно умел ею делиться. В школе он основал первое в

своей жизни филологическое сообщество, своеобразный «клуб четырех». Впоследствии такого рода клубы при участии Толкина возникали как бы самопроизвольно, но никогда и ни с кем у него не было более тесных дружеских отношений, чем с этими тремя однокашниками. Тут стоит заметить, что щупловатый Рональд вовсе не был ни тихоней, ни заморышем. Нет, это был общительный и веселый, чтобы не сказать — проказливый, подросток, отчасти даже спортсмен — регбист, игрок школьной команды.

Словом, в общем счете Рональду было примерно шестнадцать; а вот очаровательная резвушка Эдит Брэтт, для которой потом будет придумано имя Лучиэнь и легенда на придачу и которая пока что, в пансионе, снимала комнатку этажом ниже, — та, по-видимому, была моложе своих девятнадцати. Из комнатки доносилось пение и стрекот швейной машинки; вообще-то она окончила музыкальную школу и собиралась стать учительницей музыки, а вдруг да и пианисткой. Своего пианино у нее не было, а на том, что стояло в гостиной, хозяйка пансиона охотно разрешала играть для гостей, упражняться на нем не дозволялось. Вот она и шила — не сидеть же без дела! Тем более что с музыкальной карьерой было не к спеху: от матери осталось кой-какое наследство (земельный участок), и на прожитие худобно хватало. Но жилось ей довольно одиноко, и с Рональдом они сразу подружились — у них обоих был талант человеческого общения. Они заключили наступательно-оборонительный союз против хозяйки пансиона. Они закупали лакомства на сэкономленные гроши и (втроем с Хилари) устраивали тайные пирушки. Они (вдвоем с Рональдом) гуляли, проказничали, катались на велосипедах. Скорее всего эта дружба с естественным оттенком полувлюбленности и двумя-тремя робкими поцелуями осталась бы светлым промельком, чистым воспоминанием юной по-

ры. У них не было главного — не было общности интересов, а упоенный интерес Рональда к слову уже стал средоточием его жизни. Но тут вмешался опекун.

Вначале недооценив опасности девического соседства, отец Морган затем ее переоценил. Он привык выслушивать исповеди и видеть изнанку отношений полов — то, что настоятельно требует покаяния. Рональду каяться пока было явно не в чем (а то бы он, кстати, покаялся), но когда отец Морган стороной случайно узнал об одной велосипедной прогулке своего подопечного, он сопоставил факты, встревожился и принял меры. Он немедленно переселил мальчиков от греха подальше и запретил Рональду всякие встречи и всякую переписку с Эдит. Не от черствости и не из ханжества: он объяснил ему, что до двадцати одного года за его будущее в ответе опекун, а будущее его решается в ближайшие два года. Ему прямая дорога в Оксфорд, но платить за обучение им и вместе с опекуном не по карману. Есть лишь один выход: блестяще сдать вступительные экзамены и получить именную стипендию. Таковая присуждается только до девятнадцати лет; в январе 1911 года будет уже поздно, и придется избирать иное жизненное поприще. Между тем нежные отношения со взрослыми девицами учебным никак не способствуют.

Не способствует ей и насильственное разлучение с подругой, которая оттого становится втрое дороже; горечь и тоска тоже не способствуют. Однако прав был и отец Морган: Рональд действительно подзапустил занятия, и первая его попытка поступить в Оксфорд успехом не увенчалась. Впору было впасть в уныние, опустить руки и заодно уж взбунтоваться против опекуна. Все это, однако, было не в натуре Рональда. Он, напротив, засел за книги, но и от регби не отлынивал, а уж в «клубе четырех» развернулся вовсю. И в декабре 1910-го все-таки стал оксфордским стипендиатом.

В Оксфорде ему повезло с наставниками: тщательно выявив характер его способностей и устремлений, в нем угадали будущего крупного ученого-педагога и перевели с классического отделения, куда он поступил, на недавно созданное отделение истории английского языка и литературы — со специализацией по языку, разумеется. Впрочем, как уже говорилось, язык был для него функцией текста, и текста поэтического. (Хроника тоже воспринималась как поэтический текст.) Он начал писать стихи, сперва как бы переводы с древнеанглийского, потом — все больше и больше отдаляясь от подлинника, сам толком не зная куда. Со школьными друзьями из «клуба четырех» он поддерживал близкие отношения (хотя завелись и новые друзья) и, конечно, читал им создания своей лингвистической музыки. Один из них спросил его: «Слушай, Рональд, а о чем это?» И Рональд задумчиво ответил: «Еще не знаю. Надо выяснить». Шел 1914 год.

Все ли переменялось после 4 августа, дня вступления Англии в войну? Для Толкина — почти ничего: те же аудитории, те же преподаватели, такие же лекции. Сверстников, правда, сильно поубавилось — в ответ на призыв лорда Китченера многие тысячи студентов ушли на фронт рядовыми. Толкин этого не сделал; вместе с двумя друзьями из школьного клуба он записался в полк Ланкаширских стрелков (третий друг ушел на флот), и к академическим занятиям прибавились военные учения. Стихов он писал все больше, и в них стали все отчетливее вырисовываться очертания сказочно-мифологической страны Валинор, озаренной не солнцем и не луной, а сиянием двух деревьев. Живут там, кажется... эльфы, и язык у них... эльфийский. Он перепечатал стихотворения (их набралось десятка три) и предложил их лондонскому издательству католической ориентации. Стихи были отвергнуты с холодным негодованием: хорошенькие развлечения у молодого католика в

годину бедствий! И что это еще за Валинор? Чуть ли не язычеством попахивает...

Их отношения с Эдит возобновились еще в 1913 году; в тот самый день, как ему исполнился двадцать один год, Рональд сделал ей письменное предложение. Оказалось, правда, что она тем временем обручилась с другим, но это недоразумение было улажено, и она согласилась ждать дальше — уже в качестве невесты перед Богом. Этот заключенный на небесах брак был освящен на земле 22 марта 1916 года, с благословения отца Моргана. А 4 июня Ланкаширских стрелков отправили во Францию: готовилось грандиозное наступление на реке Сомме. Младшему офицеру связи Дж. Р.Р. Толкину предстояло в нем участвовать.

Началось оно 1 июля, и в этот день на пятнадцатимильном участке фронта легли мертвыми шестьдесят тысяч англичан; таких потерь британская армия еще не знала. В гряде гниющих трупов остался один из «клуба четырех». Батальон Толкина бросили в огонь 14 июля; Джон Рональд Руэл оказался среди уцелевших. И вышел невредимым из дальнейших, столь же бесплодных атак — июльских, августовских, сентябрьских, октябрьских. Чудес храбрости он не совершал — да в этой мясорубке и не было места чудесам, — он просто шел или полз под огнем по грязи и по мертвым телам бок о бок с другими, и солдаты считали его своим, и это наверняка было для него главное. Много лет спустя он писал об одном из героев эпопеи «Властелин Колец»: «Мой Сэм Скрамби целиком срисован с тех рядовых войны 14-го года, моих сотоварищей, до которых мне по человеческому счету было куда как далеко».

Без малого четыре месяца на передовой в разгар самой кровопролитной из тогдашних бесславных битв, а потом — сыпной тиф, повальное окопное заболевание. И в такой острой форме, с такими осложнениями, что почти два года пришлось ски-

таться по госпиталям; на фронт он больше не попал. В декабре 1916-го получил он письмо от школьного друга из «клуба четырех», убитого через несколько дней: «...дай тебе Бог сказать все и за меня тоже, хоть когда-нибудь, когда меня уже давно не будет на свете...»

Тут, собственно, конец биографической предыстории и начало семейной жизни и академической карьеры профессора Толкина — это с одной стороны, а с другой — тогда-то, на больничной койке, он наконец понял, что он пишет и что ему надо писать помимо ученых исследований и наряду с ними. Оказывается, надо глубже и глубже, не жалея трудов, вчитываясь в саги и хроники, эпические песни и предания, в сказки и легенды и различать за ними, да не за ними, а в них, между строк, облик некоего связующего сказочно-мифологического целого и затем, с помощью чутья и воображения, воссоздавать его нынешними словами. Он пишет «Книгу утраченных сказаний». Для того чтобы — «не смейтесь, пожалуйста!» (это он в письме) — «можно было ее просто посвятить Англии, моей стране».

Вот и видно, что не писатель Толкин — в том смысле, с каким мы привыкли связывать писательство. Визионер какой-то, выдумщик. К двадцати восьми годам жизнь дает ему столько материала! Можно о детстве, о раннем сиротстве, что-нибудь в жанре «Дэвида Копперфилда». Можно школьный роман, религиозно-проблемный, университетский, можно вполне содержательную любовную историю. А военный опыт чего стоит! Взять хоть ровесника его, Р. Олдингтона, модного в 20—30-е годы представителя английского «потерянного поколения». Тот на передовой провел гораздо меньше, но не простил этого своей родине и в романе «Смерть героя» излил законное негодование против Англии, заключив прочувствованный монолог словами: «Да поразит тебя сифилис, старая сука!»

Так что очень нетипичен и совсем не ко времени был стыдливо-патриотический замысел Толкина слить «в одно широкое и ясное лазорье» видение мира, присущее англосаксонскому, кельтскому, исландскому, норвежскому, финскому эпосам. Когда-то он писал о «Калевале»: «Хотел бы я, чтобы у нас в Англии было что-нибудь в этом роде». Теперь он вознамерился создать «что-нибудь в этом роде» в крайне неблагоприятной общественной атмосфере — и если не вопреки своему жизненному опыту, то почти вне связи с ним. Но без сопряжения с жизненным опытом, с современностью могло получиться только то, что и получалось, — псевдоэпос, стилизация, имитация. Другое дело, что сам по себе опыт еще не подсказка; надо найти способ его использования, приобщения к замыслу, пусть и самому фантастическому.

И замысел этот добрых два десятилетия срастался с его профессией, душой, воображением и даже просто бытом. Срастался — и, разумеется, преображался. Он стал называться «Сильмариллион» — потому что сердцевиной его сюжета сделалась история трех украденных из рая земного, страны Валинор, волшебных бриллиантов, Сильмариллов. Валинор же стал обителью божеств, или, если угодно, архангелов-демиургов, соучастников творения мира, Средиземья. Кроме того, Валинор — обетованный край для первородных существ Средиземья, бессмертных эльфов. Там бессмертье им не в тягость, а в Средиземье оно их постепенно изнуряет, становясь дурной циклической бесконечностью аналогичных происшествий. Поэтому людям, сотворенным вслед за эльфами в том же облике, смерть дарована в виде особой милости, как таинственный залог иного, высшего назначения, высшего, нежели даже блаженство.

Однако не будем вдаваться в тонкости; кое-что из этого излишне знать читателю «Властелина Колец», но поскольку «Сильмариллион» — самостоятельное произведе-

дение, постольку мы его оставим в стороне. Так, в стороне останется почти вся его первая часть, мифы творения, над которыми Толкин трудился едва ли не больше всего и которые в окончательной, посмертной редакции «Сильмариллиона» выглядят все-таки довольно убого. Достаточно знать, что это — попытка образного осмысления и, так сказать, сюжетной интерпретации первой главы библейской Книги Бытия; тут нет ничего удивительного, потому что Средиземье в начальном и конечном счете — наш мир. Отметим лишь, что толкиновское осмысление гораздо более ортодоксально, чем это может показаться на первый взгляд.

Зато не мешает знать, откуда взялись в Средиземье гномы, а также орки, драконы, тролли и прочая нечисть, не говоря уже о самом Властелине Колец. Гномы — плод самостоятельности одного из демиургов, мастеровитого и нетерпеливого: он никак не мог дожидаться, когда же наконец Вседержителю благоугодно будет кого-нибудь сотворить. Будучи как бы телепатически в общих чертах знаком с вышним замыслом, демиург сотворил существа кряжистые и упорные, хорошо приспособленные к борьбе со злом (изначально опоганившим Средиземье), но несколько аляповатые. Он не сообразил, что даровать им свободу воли не в его власти, и так бы и остались гномы големами, если бы Вседержитель не смилостивился и не разрешил гномов — с тем только, что они покамест будут почивать в горных недрах, а выйдут на свет божий в свой черед. Поэтому в Средиземье и бытует легенда, будто гномы сами собой произошли из камня.

Зло в Средиземье, как сказано, присутствует изначально: прародитель его, сперва самый могущественный из демиургов, звался Мелкор. Он тоже был соучастником замысла творения, но, движимый гордыней, своеволием и своекорыстием, сделался его извратителем, самозванным князем мира сего. Он-то и развел на земле

нежить и нечисть, и одним из самых мерзостных его деяний было выведение орков, ибо это — порченные мукой и чародейством эльфы. Самовластие не терпит сопротивления, достоинства и независимости, оно ненасытно, оно стремится быть вседушим — и Мелкор от начала веков и дней Средиземья всеми силами возвеличивался путем разрушения, подавления, осквернения. Он — злой дух истории. Его главный подручный, Саурон, — из числа младших демиургов — особенно искусен по части лжи и коварства. Пока не пришел его срок, он был тенью Мелкора, потом стал его местоблюстителем.

Когда Средиземье еще пребывало во тьме, Валинор озаряло сияние двух деревьев; туда переселились благороднейшие из эльфов, и главный их искусник, Феанор, изготовил и огранил три несравненных бриллианта — Сильмарилла; оживленные его мастерством, они впитали свет деревьев и лучились ярче звезд.

Мелкора они томили нестерпимым вожделием: он с того и начал, что возжаждал Света, но для одного себя, и до времени затаился во тьме, ведь похитить деревья было нельзя. Но вот открылся путь к прежде недостижимому — погасить Свет и оставить его себе. И путь этот открыл Феанор, ибо Сильмариллы созданы были не во славу Света: мастер возлюбил дело рук своих, рукотворное сокровище, паче нерукотворного. Да и волшебство всегда связано с заклятием, а заклятие — с проклятием. Такие и тому подобные азбучно-мифологические прописи, так сказать заповедные мифологемы, образуют подоплеку сюжетной игры «Сильмариллиона», задуманного как нечто вроде «Суммы мифологии». Пока и поскольку это так, «Сильмариллион» немногим более чем лакомое блюдо для своего брата-специалиста, способного угледеть намеки и отсылки, оценить сопряжения и соответствия, то есть прочесть его при свете «Калевалы» и «Старшей Эдды». И все же... и все же есть

здесь и свой нравственный заряд, и самостоятельное сюжетное напряжение, да и игровое начало не сводится к академическим забавам. Не нужно, правда, забывать, что мы говорим о «Книге утраченных сказаний» в ее окончательном виде, то есть о некоем синтезе попыток написать ее. А теперь вернемся к лиходейскому умыслу Мелкора.

Первым делом он нашел себе сообщницу — исчадие мрака и пустоты, именуемое Унголиант и принявшее облик громадной паучьей самки. Во время праздника прокрались они к светоносным деревьям, и Мелкор пронзил их черным копьём, а Унголиант высосала животворное сияние. Сильмариллы были ревниво укрыты от чужих глаз во дворце Феанора; тем легче было Мелкору их похитить.

В наступившей вселенской тьме он перенесся на север Средиземья, воздвиг там неприступную и неоглядную крепость Тонгородрим и в глубине ее воссел на черный трон; чело его венчала железная корона с тремя Сильмариллами.

С тех пор он уже не Мелкор, а Моргот («черный супостат» по-эльфийски — так назвал его разъяренный Феанор); эта перемена имени знаменует его превращение из подобия Локи, злокозненного божества древнескандинавского пантеона, в сущего Люцифера, Владыку Мрака. Феанор же с сыновьями и родичами дали страшную, кощунственную клятву вернуть Сильмариллы любой ценой — «и лучше бы им этой клятвы не давать, но нарушить ее было нельзя».

Отсюда начинается уже не мифологическая, а легендарная предыстория Средиземья, на которую, как заметит читатель, нередко оглядываются герои «Властелина Колец»; и среди ее героев все больше людей. Архангелы-божества отступают за горизонт, а бессмертные (их, правда, можно убить, и они могут зачахнуть) и благороднейшие эльфы, поглощенные нескончаемыми войнами с Морготом, сплошь и ря-

дом оказываются деспотами, убийцами и вероломными злодеями. Худую службу служит им их бессмертие, невозможность оглянуться на прожитую жизнь. Их жизнь может только оборваться. Они в плену своей судьбы, а их союзники люди, не покорившиеся злу и не связанные с ним поручкой волшебства, судьбе неподвластны. Нет нужды пересказывать эти легенды: по мере надобности это делает сам Толкин, но уже совсем в другом качестве, не в качестве автора «Сильмариллиона».

Мрачные, зловещие и несколько однообразные саги повествуют о том, как тяготеющее над Сильмариллами двойное проклятие стубило всех причастных к нему, да и не только их. Одно за другим сокрушают Моргот и Саурон царства эльфийского края Белерианда. И лишь сыну смертного витязя и эльфийской царевны Эарендилу удается при путеводном свете отнятого у Моргота человеческой рукой Сильмарилла доплыть до Валинора и вымолить спасение Средиземья от всевластия мрака. Тонгородрим пал, и Моргот был навеки ввергнут во тьму кромешную, но Саурон избежал его участи.

Так закончилась Первая эпоха Средиземья, или, как выражаются эльфы, Древняя Пора. «Сильмариллиону» тоже конец, эпилог приписан к нему гораздо позже, в 20-е годы, между ним и Древней Порой зияла первозданная пустота. История пока что была историей эльфов (вмещавшей миф о сотворении мира) и, как таковая, бесперспективна, вроде эльфийского бессмертия. Разве что начинать новый ее цикл — чему мифология определенно противится, мифологическая эпоха в принципе однократна — или шлифовать мифы, умножать и переписывать легенды. Этим Толкин и занимается — скорее по инерции, довольно вяло. Куда больше занимает его работа над всеобъемлющим толковым словарем английского языка (это детище было зачато в Оксфорде в 1878 году и к началу 20-х годов XX века еще не родилось),

издание англосаксонских текстов, пропаганда среди коллег древнеанглийской и древнеисландской литератур; наконец, и едва ли не в первую очередь, — преподавание: в 1925 году, тридцати семи лет от роду, он стал профессором Оксфордского университета, такое редко случалось.

К тому же Джон Рональд Руэл был редкостно заботливым семьянином, а к 1930 году у него было уже трое сыновей и дочь. Детям он уделял очень много времени и оказался неистощимым сказочником и неумолимым затейником, отчасти как бы пародируя свою бурную клубно-университетскую деятельность. И в домашней атмосфере один из побегов его воображения превратился в деревце, а оно, пересаженное на тучную почву «Сильмариллиона», породило волшебный лес, из которого Толкин вышел на простор... Средиземья.

Сам он всячески распространял и поощрял версию о том, как однажды среди ночи ему подвернулся в экзаменационном сочинении чистый лист и он будто бы возьми да напиши на нем ни с того ни с сего: «В земле была нора, а в норе жил да был хоббит». «Имена существительные, — замечал он, — всегда обрастают в моем сознании рассказами. И я подумал, что не мешало бы выяснить, какой такой хоббит. Но это было только начало».

А и в самом деле, что еще за хоббит? Дотоле никаких хоббитов в Средиземье не обитало и не предвиделось. Да и этот хоббит, как можно заметить, покамест обитал не в Средиземье, а в норке. Откуда же он там взялся?

Из сказки. Но не из сказки волшебнотролльско-драконьей — там таких не водится. Гномы — пожалуйста, эльфы — сколько угодно (правда, совсем не такие эльфы, как в «Сильмариллионе», — таких почитай что и нету). Тролли, драконы, оборотни, они же серые волки, злые чудовища-страшилища (да хоть бы и те же орки), колдуны и ведьмы, русалки и кощеи — это все есть. А хоббитов нет и быть не может. Есть, правда,

вспомогательные животные, в том числе серый заяц. Так, может, хоббиты (они ведь до известной степени зайцы) проходят по такому разряду? Или они вообще явились из животного, скажем так, эпоса, воплощая некую аллегория и потому недоочеловечились?

Тут-то мы и наткнулись на еще один вопрос: а кто такие, собственно, хоббиты? Более или менее человечки? Да нет, зачем же человечкам жить в норках. И — что важнее — ростом они для человечков очень не удались. Когда Джонатану Свифту понадобились человечки, он их сделал ровно в двенадцать раз меньше Гулливера — и получились лилипуты, человеческие существа в своем праве. А если человека уменьшить вдвое, получатся недомерки, карлики, коротыши — словом, какие-то убогонькие, Богом обиженные. Нет, хоббиты не человечки, и сами они такому определению очень противятся.

Да, они пришли из сказки — из той импровизированной домашней сказки, где из игрушечного ящика берется плюшевый заяц и вселяется в игрушечный (совсем как настоящий) домик. В домике он пьет чай из кукольной посуды на игрушечном столике, а потом — с девочки, может, и этого бы хватило, но сказки рассказывались мальчикам — говорится: «И отправился заяц путешествовать». Остается ли он в своем странствии зайкой? А смотря какое странствие, смотря какая сказка. Ни басен, ни сатир, ни апологов, ни физиологических саг детям обычно не рассказывают; если же начинаются «страшные опасности и ужасные приключения», которых жаждал типичный ребенок Буратино, то заяц-герой, выступая в несвойственных зайцу как таковому ролях и совершая нехарактерные для длинноухого (или шерстолапого) поступки, по мере надобности преобразуется. Заяц-то он, может, и заяц, но какой-то такой заяц... Ну как у Булгакова Мастер говорит Бегемоту: «Мне кажется, вы не очень-то кот». Даже и ходит он все боль-

ше на задних лапах, хотя в человека и не превращается, в отличие от буратино (т.е. марионетки) Пиноккио, который у Коллоди только к этому и стремится.

Если читатель знаком с опубликованной в 1937 году (и переведенной на русский язык в 1976-м) книгой Толкина «Хоббит», то он, вероятно, уже уловил аналогию с ее героем, хоббитом по имени Бильбо, не по-сказочному — а если иметь в виду домашнюю импровизированную сказку, то как раз по-сказочному — наделенным фамилией. В начале этой книги он еще почти совсем игрушечный; и когда он описывается «с заячьей стороны» (сколько ни отнекивайся Толкин, а «хоббит» все-таки сращение двух слов: homo [лат.], «человек», + (ra)bbit [англ.], «кролик»), то за этим явно виден папа-рассказчик, вертящий в руках плюшевого зверька. Жил себе и жил наш Бильбо, господин Торбинс, в своей уютной норке — а там все было как надо, и вот видишь, домик, только окна у них там не такие, круглые у них окна, и столик, и камин, и сервиз... Жил себе и жил, чай распивал. Но однажды утром проходил мимо (под руку подвертывается, скажем, Дед Мороз)... один волшебник с длинной бородой. И пошло-поехало. Гномы нагрянули! Дым коромыслом! И отправился Бильбо в путешествие.

Куда его было отправлять в путешествие? Да, разумеется, в ту страну (папа увлекся и принялся вместе с сыновьями рисовать карты, похожие на давным-давно нарисованные) — по такой стране, которая называется... Средиземье. Да как бы она ни называлась, но чего только там нет! (Выше мы уже объясняли, чего только нет в сказочных краях. Кроме хоббитов, все есть. А теперь будут и хоббиты.) Толкин примеряется к сказке, насквозь пронизанной обращенной к детям интонацией, и персонажи мира «Сильмариллиона» одомашниваются: эльфы уже не эпические витязи с проклятьем на челе, а шустрые резвунчики; тролли — болваны людоеды, которых

сам Бог велит обвести вокруг пальца; даже орки-гоблины и те не злодеи, а скорее злыдни. А уж Гэндальф — сущий Санта Клаус! Что ж, правильно, так и надо, детская сказка диктует свои законы, и далеко не сразу обнаруживается, что одно другому на самом-то деле не противоречит, что это просто разные ракурсы изображения. Но все же обнаруживается; и почти неожиданно для читателя вольное странствие Бильбо Торбинса превращается чуть ли не в боевой маршрут. И что-то за этим стоит — или движется. И Гэндальф вовсе не Дед Мороз, и вообще...

И вообще, игрушечные декорации врастают в землю (они только казались игрушечными), приключения становятся событиями, и гул их разносится далеко за пределами сказки — какое-то колечко подвернулось где-то там господину Бильбо Торбинсу: ох, не к добру это колечко! — и меняется масштаб, а с ним и роли персонажей. Бывший заяц Бильбо к концу «Хоббита» вовсе не таков, каким отправился в путешествие, но это бы еще ладно, он-то, грабитель-хоббит, сокращенно — грахоббит, не особенно изменился — изменился игрушечный мир, бесповоротно ставший Средиземьем. Вот, значит, где странствовал Бильбо, но тогда... но тогда надо, чтобы явилось Средиземье! И надо не выдумывать, а выяснять — с этим Толкин давно согласен. Но как же его вытянуть, это Средиземье? За что схватиться? Уж не за то ли колечко, которое Бильбо случайно... Да, вот именно, за него! Ведь не зря грахоббит довольно-таки нахально и неожиданно для себя его присвоил.

Волшебный мир, по которому странствовал господин Торбинс, вовсе не такой уж волшебный. Это наш мир, но неопознанный, а опознание дается опытом, и опытом нелегким, то есть многого требующим и от героя, и от автора-рассказчика, организатора и осуществителя сюжета открытия мира. Да и от читателя: Толкин — автор требовательный, и читатель празд-

ный и небрежный ему не нужен. Открыватель мира и своей к нему причастности не может быть ни праздным, ни небрежным, ни невнимательным. Истый читатель Толкина (а таких нашлись многие миллионы), раз открывши Средиземье, никуда оттуда не денется, а со временем и до «Сильмариллиона» доберется. Между тем в «Сильмариллионе» описывается вовсе не тот мир, по которому путешествует Бильбо. Между нами и Бильбо дистанции нет, он из нашей детской, а вот между Бильбо и героями мрачных легенд — расстояние огромное.

И в книге «Хоббит» он его понемногу преодолевает, сам того не ведая, как до поры до времени и Толкин не ведал, что творил (во всякой книге история героя в какой-то мере история автора). Да, трудно-вато приходится Бильбо: на каждом шагу он вынужден доказывать — и притом все время сам, без посторонней помощи, — что он не столько хоббит, сколько грахоббит. Но это его дело, и он с ним неплохо справляется, осваиваясь в Средиземье. А вот чтобы к делу мог приступить читатель — для этого пришлось потрудиться профессору Толкину, пустив в ход всю свою изобретательность и эрудицию, все свои профессиональные навыки. Словом, времена Бильбо должны были стать Третьей эпохой, и за колечко его надо было вытащить всю историю Средиземья. А для этого следовало как минимум ее придумать.

Это открытие так поразило самого Толкина, что он даже бросил писать (или, если верить его детям, записывать) «Хоббита», когда выяснилось, что грахоббит Бильбо ни под каким видом в драконоборцы не годится. А через дракона не перепрыгнешь. Ну, бросил и бросил, это было в порядке вещей, удивительно, скорее, что он удосужился написанное перепечатать в одном экземпляре. Видимо, по свойственной ему аккуратности; и еще затем, чтобы иной раз дать почитать друзьям и знакомым. Дети подросли, и их теперь ничуть не волнова-

ло, найдется ли для бывшего плюшевого зайки выход из безвыходного положения.

Заведомо, казалось бы, суждено было этой машинописи присоединиться к «Сильмариллиону» лишь внешним образом — «в портфеле», где, как писал Козьма Прутков, «много замечательного, но, к сожалению, неоконченного (d'inachevé)». Однако, по счастью, профессора Толкина (который, надо сказать, был легок на подъем, но трудно раскачивался) подвигли к выполнению трудновыполнимой задачи обстоятельства, не в последнюю очередь материальные. Всемогущая случайность сделала так, что ученица профессора восторженно рассказала о его забавах подруге — редактору издательства «Аллен энд Ануин», та заинтересовалась и, без особого труда проникнув к профессору, испросила машинопись на прочтение (можно себе представить, сколь мало Толкин ценил свое сочинение, если выдал его единственный (!) экземпляр по первой просьбе). Сьюзен Дагнэл — хочется назвать ее имя, потому что ей мы практически обязаны всем, что было дальше, — прочла машинописный текст и на свой страх и риск написала Толкину, что издательство от рукописи в восторге, просит только, если можно, закончить сюжет. Толкин такую возможность изыскал. Однако и в законченном виде сюжет вызвал глубокое недоумение директора издательства Стэнли Ануина. Он отдал рукопись на рецензию сыну, и тот с высоты своих десяти лет снисходительно, но очень доброжелательно рассудил, что пяти-, шести-, семи-, восьми- и девятилетним малышам эта будущая книжка просто-таки необходима. Не оторвутся.

И действительно, «Хоббит» имел потрясающий успех. Читали книгу отнюдь не только пяти-девятилетние малыши — от нее не могли оторваться и отроки, и взрослые читатели. Но именно дети отроческого возраста безошибочно почувствовали, что им рассказано не только и не просто о похождениях зайки, расслышали в «Хоббите»